

Иногда мы совершенно беспомощны перед жизненными обстоятельствами, и судорожные барахтанья в потоке событий никак не могут помочь нам в борьбе с его непреодолимой силой. Наверное, каждый может припомнить в своём прошлом что-нибудь подобное. Так однажды случилось и со мной. Прихотливые влияния судьбы занесли меня в тихий таёжный посёлок, в котором я надеялся прожить совсем недолго.

Название посёлка и его местоположение не имеют никакого значения. Скажу только, что от него за час с небольшим можно было доехать на электричке до районного центра — города, возникшего в не такую уж давнюю эпоху ударных комсомольскихстроек, пронизанную бодрыми лозунгами, замечательными починами, захватывающими соревнованиями, энергичными перевыполнениями утверждённых и громкими провозглашениями встречных планов... В обстановке этой милой и немного наивной трескотни были достигнуты, впрочем, впечатляющие результаты. Неподалёку от города быстро вырос и всюду пылил и дымил огромный комбинат по добыче и переработке очень важной для промышленности

руды, а сам город был красив и уютен. Он гремел на всю страну своими трудовыми достижениями, на первых полосах газет нередко печатались портреты его знатных людей, награждаемых высшими отличиями. Их имена и фамилии со временем получали улицы не только в самом городе, но и в лежащих поблизости очагах цивилизации, где родились и выросли многие из них. На одной из таких улиц поселился и я.

Моё появление в этих местах произошло в то время, когда бескорыстный энтузиазм, годами служивший топливом для движения вперёд государственной машины, перестал тянуть её с достаточной силой. Лозунги и плакаты всё так же красной яркостью подсвечивали парки и площади, грандиозные планы по-прежнему принимались к исполнению, соревнования продолжались, но всё происходило без того огонька, который раньше далеко освещал величественное грядущее, куда мы все уверенно мчались. Собственно, и причины моего переезда в посёлок, о которых мне не хотелось бы подробно говорить, были так или иначе связаны именно с затуханием этого огонька. Он погас и во мне тоже. А вскоре и сама машина вдруг резко изменила направление движения, так как было решено, что раз не тянет, надо поворачивать в другую сторону.

Первые недели после переезда прошли в томительной тоске. Возраст приближался к сорока, идеалы молодости, которым была посвящена прошедшая жизнь, растворились, как сахар в кружке чая, семья не сложилась... Не испытывая интереса ко всему, что меня окружало, я целыми днями не выходил из дому, да и тихий, неспешный ритм поселковой жизни покровительствовал спячке. Однако надо было на что-то жить, и я нашёл на краю посёлка контору, где мне предложили не слишком обременительную работу, которую я выполнял не из желания внести и свой небольшой вклад в исторические свершения эпохи, как было в недавнем прошлом, а исключительно по необходимости. Хотя коллектив насчитывал три десятка человек, на работе я был предоставлен самому себе и отчитывался только перед директором конторы Курбатовым. А поскольку общения с коллегами практически не было, новых друзей я не завёл, да и не стремился к этому. Мои друзья остались в том времени, куда возврата уже не было... С соседями по дому знакомства были тоже на уровне «здрасьте — до свидания».

Когда я немного притёрся к новой обстановке, одинокое, серое существование, угнетавшее бездной пустого времени, стало располагать меня к чтению — больше нечем было занять длинные, однообразные вечера. Я записался в библиотеку, поставив себе целью взяться, наконец, за мировую классику, главным образом поэзию — до вдумчивого знакомства с ней у меня не доходили руки в прежние годы, посвящённые строительству самого передового в истории общественного строя. Поэзию я любил издавна, когда-то и сам пробовал писать стихи, которые, горя желанием осчастливить человечество гениальными строками, несколько раз посылал в «Комсомолку» и в «Юность». Моя уверенность в собственной одарённости была настолько сильна, что в конверты вкладывались и незаконченные произведения, о чём я честно предупреждал редакторов, тая надежду, что они и так грохнутся в обморок от восторга и будут настойчиво просить меня о скорейшем завершении этих шедевров. Но, не получив ни одного ответа из редакций, я засомневался в своих способностях поразить читающую публику своими творениями и сочинял стихи всё реже, а потом и совсем перестал. Однако смутная надежда, что когда-нибудь я снова начну их писать, время от времени искрила в душе.

Эта надежда обрела новые силы, когда я стал приносить домой книги из библиотеки. Серебряный век — символисты, акмеисты, футуристы... Современ-

ники — Смеляков, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский... А между ними и другие, кто пониже... Кого-то я читал от корки до корки, а кого-то просто пролистывал — не ложилось на душу. Но уж если ложилось, я, как и в юности, испытывал ревность к автору: ну почему не я это написал? Ведь это то самое, это всё моё — мои мысли, мои чувства, только слов нужных я не смог найти. А если бы нашёл, написал бы так же или даже лучше!

Ничего, думалось мне, вот начитаюсь хороших поэтов — и сам разгонюсь. И действительно, иногда в душе вскипало «предчувствие стиха», как я называл это прежде. Торопливо садясь за стол и открывая недавно купленный блокнот, я заранее предвкушал, что сейчас ка-ак тряхну стариной... Но, поставив сверху страницы дату и написав одну-две строки, я тут же их зачёркивал — получалось то банально, то заумно, ритм не нащупывался, рифмы не находились. Набрасывал ещё несколько строк — и снова зачёркивал... Промаявшись с полчаса и почти физически страдая от собственной немоты, я в отчаянии уходил из посёлка в лес, не зная, куда себя деть, — писать не получалось, а не писать я не мог! Побродив среди сосен и немного остыв, я возвращался домой, раскрывал книжечку чьих-нибудь стихов, в который раз надеясь поймать озарение, но убеждался, что так и не могу вырваться из опутавшей меня паутины странного, пугающего безмолвия. Капризная Муза ни разу не посетила меня, чтобы хоть немного посидеть наедине, и я не знал, чем ещё завлечь её.

Наступившая зима совершенно охолодила мои творческие порывы, и я перестал ходить в библиотеку, а вместо чтения развлекался по вечерам созерцанием «Кинопанорамы», «В мире животных», художественных фильмов и спортивных репортажей в купленном по случаю с рук «портативном» цветном телевизоре. Сейчас это слово не в ходу, а мне оно напоминает о временах моей молодости, когда было престижно иметь что-нибудь портативное — транзисторный радиоприёмник, переносный магнитофон, фотоаппарат размером с пачку сигарет... Я сознавал, что телевизором заглушаю свою тоску по несбывшейся надежде вернуть себе голос — не для того, чтобы пленять и завораживать публику, насчёт этого иллюзий у меня уже не было, — но хотя бы тихий голос для самовыражения. Выключив телевизор, я ложился спать с чувством виноватости перед собой — за то, что перестал бороться со своим безмолвием. А утром переживать было некогда, я спешил в контору — опоздания у нас строго порицались.

Однажды, придя к Курбатову с отчётом о законченной работе, я увидел на его столе небольшую стопку бумаг. На верхнем листе красивым почерком был написан явно стихотворный текст — в столбик, с разбивкой на строфы. Улыбнувшись, я сказал, кивнув на стопку:

— Кто-то вам отчёты в стихах пишет. Не то что я — презренной прозой.

Курбатов взглянул на меня поверх очков:

— А-а, это? Это Женя Лозинский начал стенгазету готовить. Восьмое марта надвигается.

— Стенгазету? Я думал, их уже нет нигде.

— Ну, это я по старой памяти так назвал. Он каждый год сочиняет поздравления и вывешивает в коридоре. Может, и не слишком хорошо получается, зато женщинам приятно... А здесь, — он положил на бумаги ладонь, — у него и другие стихи есть. Принёс мне показать.

— А можно почитать?

Никогда бы не подумал, что Лозинский, невысокий черноглазый паренёк, с

которым я несколько раз мимоходом контактировал по работе, пишет стихи. Любопытно, что у него там?

— Да пожалуйста.

— Я домой возьму, ладно? Завтра принесу.

— Договорились. Значит, тоже стихами интересуетесь? — Курбатов снял очки и прищурился на меня. — Тогда я вас попрошу... Вчера пришлось Женю в срочную командировку отправить, на неделю. Может, доделаете газету? Праздник у нас через... два дня, значит, послезавтра надо повесить. Тут вот и фотографии есть, — он взял со стола конверт, — Женя сам всех снял. Вырезать лица, наклеить, переписать поздравления. Ничего сложного.

Я пробормотал что-то согласительное. Курбатов сложил всё в папку, и я унёс её к себе.

Вечером дома я раскрыл папку и стал перебирать листки. Отложив поздравления, взялся сразу за стихи. И хотя не ожидал чего-то потрясающего, всё же был разочарован. Рифмовка почти везде слабая, размер не соблюдается, темы так себе. Розы-берёзы, дожди и туманы, солнце сквозь тучи, я тебя люблю, а ты проходишь мимо... На некоторых листках внизу стояло: «Евг. Лозинский (ранний)». Но «поздний» был ненамного лучше.

Я принялся за поздравления. Каждой из наших сотрудниц (их у нас девять) было посвящено от двух до четырёх строчек. Обычная мужская рутина в женский день... Надо сказать, я с некоторых пор был равнодушен к этим половым праздникам, давно потерявшим своё значение и лишь по традиции кочевавшим по календарям с каких-то древних времён, когда сначала женщины боролись за равноправие и независимость от мужчин, а добившись своего, для равновесия придумали им праздник тоже, чтобы не обижались. Но если кому-то нравится эта традиция, пусть празднуют...

Поздравления, вернее, краткие производственные характеристики, сплошь положительные, имели тот же уровень. Вот, например, про нашу «секретчицу» (в работе мы пользовались топографическими картами, которые имели гриф «секретно», и в конторе существовала спецчасть, где они хранились) было написано:

Иностранная разведка обессилена:

На страже секретов — Тамара Васильевна.

Рифма мне, правда, понравилась. А остальное... Ну, можно ведь было как-нибудь поэтичнее! Об этом же, но по-другому... Я посидел, подумал. «Иностранная разведка» — задаёт какой-то колыбельный ритм, да и слишком длинно, почти на всю стихотворную строку. А как покороче? Да никак... Нет, надо взять какой-то характерный признак, специфическую деталь, может быть, термин... Что я читал об этом? Вадим Кожевников, Юлиан Семёнов... но это другое, это про войну. А про мирное время?.. Не помню, да и не люблю я шпионские романы. Но ведь есть ещё и фильмы. «Мёртвый сезон»... «Ошибка резидента» с продолжениями: «Судьба резидента», «Возвращение резидента»... Стоп-стоп, вот ключевое слово на тему об иностранной разведке — «резидент»! Оно такое сочное, выразительное, надо за него зацепиться. Резидент — это главный шпион, руководитель шпионской агентурной сети. Агентура... агент... Хорошо рифмуется с резидентом. Но рифму Лозинского надо тоже оставить, она очень удачная. Тогда... вот так?

Агент резиденту сказал обессиленно:

«Секретов не выдаст Тамара Васильевна».

А что, ведь неплохо! Смысл тот же, что у Жени, зато добавилась внутренняя рифма, появился чёткий энергичный ритм, а вместо безличной «иностранный разведки» — конкретные облажавшиеся враги. И Тамара Васильевна не просто «на страже» — она стойко сопротивляется всем их стараниям выведать у неё государственные секреты. Здесь даже есть намёк на то, что её пытали. Но на самом деле пыток, конечно, быть не может, и тот, кто понимает, должен оценить тонкий юмор этих строк. Ай да Пушкин, сукин сын!

В азарте первого успеха я взялся за переделку второго поздравления, потом третьего, и так дошёл до последнего, девятого. Закончив с ним, я взглянул, наконец, на будильник — был четвёртый час ночи. Меня это поразило — оказалось, что пока я ломал и перестраивал кривобокие словесные конструкции Лозинского, времени для меня не существовало!

На следующий день Курбатов отпустил меня домой пораньше, выдав лист ватмана и коробку с гуашью, и я засел за «стенгазету». Моих художественных способностей хватило на то, чтобы в левой её части изобразить огромную восьмёрку с мелкой припиской под ней «марта», а в правой — солнце с немного кривоватыми лучами. Вверху посередине я написал «Поздравляем!», ниже разместил фотопортреты наших работниц и свои версии мадригалов. Самое трудное было красиво их переписать — почерк мой никогда не страдал излишней каллиграфичностью. К тому времени пишмашинки из наших «офисов» уже исчезли, но компьютер был один на всю контору, и бедная Танечка Воробьёва едва успевала разбирать и перепечатывать рукописные каракули, которые непрерывно тащили ей из всех кабинетов. Да мне и не хотелось раньше времени засвечивать свои вирши — там, конечно, было и о Танечке тоже. Поэтому вариант с воспроизведением текстов на принтере отпал, и я со всем старанием выполнил всё фломастером. Получилось довольно разборчиво. По всему листу я нарисовал яркие цветы, которых в природе, наверное, не существовало, но тем хуже было для них, потому что выглядели они роскошно!

Утром я постарался прийти в контору пораньше и прикнутил свой холст к висевшему в коридоре щиту для приказов и объявлений. Потом, удалившись к себе в кабинет, где помещались лишь стол со стулом и шкаф с документами, занялся повседневной работой. Заполняя большую сложную таблицу, я совершенно отключился от всего и очнулся лишь к обеду, когда в дверь заглянул маркшейдер Адоньев и сказал: «Пойдём отметим».

Отмечали в бухгалтерии — самом просторном кабинете, где трудилось большинство наших дам. Столы были освобождены от бумаг и сдвинуты торцами, на них возвышались кастрюли с салатами, варёной картошкой и ещё какими-то закусками, бликовали от включённых лампочек бутылки со спиртом «Ройял» и винами, стояла одноразовая пластиковая посуда, купленная в ближайшем «комке» — коммерческом магазине. Стулья притащили из других кабинетов. Женщины прихорошились и благоухали «Сигнатором» и «Рижской сиренью», а мужчины были сдержанно-торжественны. За стенами конторы второй год властвовала суровая реформаторская действительность, которая, словно заблудившийся бегемот, то и дело невзначай придавливала кого-нибудь толстым бесчувственным боком или тумбообразными ногами, но в этот день всем хотелось забыть о ней и отдаться беспечной радости.

Курбатов, как глава учреждения и как мужчина, произнёс длинный прочувствованный тост. Выпили, закусили, потом, не откладывая, налили по второй, по

третьей... Веселье покатило по обычной, глубоко прорезанной колее. Пошли оживлённые разговоры на разные темы, прерываемые тостами. Мужчины выходили покурить в коридор, а виновницам праздника было разрешено курить здесь же. Захмелевшие быстрее всех секретарша и кадровичка затянули песню про ромашки и лютики, женщины подхватили и старательно допели до конца. Потом ещё что-то спели. Кто-то из молодёжи сбегал за гитарой, и теперь стали петь под её переборы. Заметно опьяневший Курбатов пообещал в следующий раз принести аккордеон и сыграть полонез и танго.

Бутылки и кастрюли наконец опустели. Когда разлили последнее и собирались переходить к чаю с тортом и конфетами, поднялась лаборантка Валя Сёмина и сказала:

— Девочки, а я хочу заочно поблагодарить нашего Женечку Лозинского. Вот уехал в командировку, а о нас не забыл, такую стенгазету заранее приготовил! Мне всегда нравилось, как он про меня писал, а в этот раз особенно. Давайте выпьем за него!

— Давайте! — поддержала Тамара Васильевна. — Он и про меня здорово сочинил: «Агент резиденту...», — и, не договорив, громко засмеялась, прямо захохотала.

Все загалдели и осушили стаканчики. Я чувствовал себя триумфатором на белом коне, но раскрывать своё параллельное авторство посчитал нескромным. Главное, у меня хоть это получилось. Буду теперь к дням рождения поздравления писать, и не только для женщин — для мужчин тоже. Поздравлять с Первым мая, с Новым годом... Или даже стихотворные репортажи делать о работе нашей конторы. Вот тогда и подписываться стану. Неудобно, правда, у Жени его хлеб отбирать... Но ведь можно скооперироваться с ним — он будет идеи подкидывать, а я конвертировать их в стихи... Мы придумаем себе общий псевдоним. Скажем, «Братья Grimm», или «Петров и Васечкин», или...

Но Курбатов всё испортил. Покачнувшись, он встал и постучал зажигалкой по пустой бутылке:

— Дамы и гос... пода, хочу внести ясность. Газету выпуск... тил не Женя, а Сергей Витальевич... — Курбатов как-то смешно заикался — видимо, от выпитого, потому что трезвый говорил без запинок. — Я тоже читал, да... Женя только наброски сделал, а Сергей Виталь... евич их облаго... родил. Кардинально!.. Я кое-что в этом... понимаю. Так что прошу... любить и жаловать, — и он сделал жест в мою сторону.

Я привстал и изобразил кивок. Мне было очень неловко, будто я сверг всеобщего кумира и присвоил чужие заслуги. Однако все захлопали и предложили выпить теперь уже за меня, но выпить было нечего, и даже чай ещё не принесли. Вдруг встала Танечка Воробьёва и сказала:

— Не знаю, чего вы все хлопаете. У Жени хоть и не так складно было, но... душевнее. Да, душевнее! — с вызовом выпалила она. — А у вас, — Танечка, прекрасная в гневе, посмотрела на меня, — совсем не так. Вот ни даже-даженьки! Обо мне вообще ужасно: «Танюша за клавиатурой сидит, как будто за рулём». Я вам не Танюша — во-первых, и машину водить не умею — во-вторых!

И она резко села и отвернулась к окну.

Стало тихо. Кто-то покашлял, кому-то срочно захотелось выйти покурить, но все молчали. Растерявшийся Курбатов начал было: «Танечка, вы неправы...», — и тут из коридора, держа перед собой электрический самовар, вошёл Адоньев и провозгласил:

— Чай вскипел!

Публика, облегчённо расслабившись, приступила к чаепитию. Зашуршали конфетные фантики, шоколадные обёртки, снова начались весёлые разговоры. Танечка Воробьёва выбежала из кабинета, но это, наверное, заметил только я. Ко мне подсел Курбатов и положил руку на плечо:

— Вы на неё... не обижайтесь, Сергей Ви... тальевич. Танечка везде за Женьку горой, потому что... давно к нему неровно дышит. А у него своя драма... Он влюблён в Ирину Козько, чертёжницу, а она замужем... Стихи ей пишет... Да вы чи... тали, наверно. Так что...

— Понятно, — ответил я. — Да я ничего.

Здесь, оказывается, скрытно бушевали шекспировские страсти, — впрочем, как и в любом коллективе. А я ненароком стал причиной того, что они вырвались наружу.

После чая стали расходиться по домам. На крыльце меня остановил Адоньев, отвёл в сторону и сказал:

— Ты, конечно, всё хорошо подстрогал, гладко стало. Но... без согласия автора не надо было этого делать. Неправильно это.

Оправдываться я не стал. Адоньев и сам знал, что, поскольку Жени в посёлке не было, его согласия спросить было невозможно.

Через несколько дней вернулся из командировки Лозинский. Он, конечно, успел прочитать стенгазету, она всё ещё висела, но мне ничего не сказал. Вообще он держал себя так, будто никакой газеты не было, и при встрече ограничивался прохладным «здравствуйте». Я понимал, что Женю тоже грызёт творческая ревность, к тому же до меня он был в коллективе единственным и почитаемым поэтом, а я этого статуса его невольно лишил. Значит, никакой кооперации у нас с ним быть не может... Наверное, нам надо было как-то объяснить, но я полагал, что первый шаг должен сделать он. Я ведь не сам взялся за газету — меня попросили. И я не мог не исправить то, что считал недостатками. И не зря — ведь все остались довольны. Ну, почти все... А если он недоволен — пусть придёт и скажет...

Но скоро я забыл о нашей заочной размолвке, да и сам раздумал становиться штатным поздравителем в конторе. Произошло неожиданное. В тот вечер, когда я вернулся домой после праздничного застолья, на меня ни с того ни с сего обрушился настоящий стихопад. Я едва успевал записывать строки, которые возникали в голове как-то сами собой, без всякого усилия, мне ничего не приходилось вымучивать, как полгода назад. Это были намётки, наброски, ни одной готовой строфы, но я знал, что непременно закончу это стихотворение — завтра, послезавтра, но закончу. О чём оно было? Да неважно. Главное, у меня стало получаться, мне нравилось то, что я выплёскивал на бумагу! Найдя оригинальное сравнение или отыскав неочевидную рифму, я с восторгом подкалывал себя: «Ё-моё! Серый! Ты никак за стихи взялся? Ну ты даёшь!». И бросил ручку только когда почувствовал, что на сегодня — всё, выдохся.

С тех пор мои вечера превратились в мучение — но какое долгожданное, какое сладкое! Возвратившись с работы и наскоро сжевав что-нибудь, я садился за стол и отправлялся в упоительные поиски самых нужных, самых необходимых слов, осматривал и ощупывал их со всех сторон, прикидывал так и этак, отбрасывал, снова вставлял в строку... Темы выскакивали одна за другой — лирические раздумья, пейзажные картины, шуточные повествования, гневные обличения, философские умозаключения... Переписав начисто готовые стихи, день-два спустя

я снова перечитывал их и без сожаления зачёркивал какие-то строки и даже целые строфы, искал синонимы и заменял слова, переставлял их местами... пока не удовлетворялся полностью. Ложась спать за полночь, я иногда долго не мог заснуть — мешали неподдающаяся рифма или не влезающая в строку мысль, и тогда приходилось заставлять себя отключаться насильно, считая в уме до двухсот, до трёхсот или с тысячи в обратном порядке.

В канцелярском отделе смешанного («смешного», как я про себя называл его) поселкового магазина я покупал для своих упражнений школьные тетради, а для чистовых стихов завёл толстую тетрадь-ежедневник. Кроме того, я приобрёл Большой словарь русского языка Ожегова, ощутив необходимость знать точные значения слов, их правописание и ударения. А чуть позже раздобыл и справочник Розенталя.

Когда внезапно нахлынувшее вдохновение немного охладилось, я остался в уверенности, что теперь оно не покинет меня. Вспыхнувший костёр, превратив в пламя и пепел излишки дров, горел ровно, хоть и не так ярко, как вначале. Уже без той лихорадочности, которая охватила меня на первых порах, я стал примеряться к разным жанрам. Попробовал сочинить сонет — и вроде получилось, а узнав, что есть несколько форм сонета, я испытал себя во всех рифмовках — французской, итальянской, английской. И даже, окончательно обнаглев, замахнулся на венек сонетов. Здесь меня ждала неудача, но я не слишком огорчился и решил отложить его на потом. Написал несколько коротких баллад, две поэмы, а для некоторых произведений, которые не мог отнести ни к одному из известных мне жанров, придумывал подзаголовки: «записки идиота», «размышления на перекрёстке» и ещё что-то подобное.

Но вместе с количеством исписанных тетрадок росло и неудовлетворённое честолюбие — мне нужны были читатели. А прежде того — критики. Со своего насеста мне казалось, что пишу неплохо, но я опасался, что найдётся такая вот Танечка Воробьёва и разнесёт меня в пух и прах, только уже аргументированно... Я вспомнил, как Курбатов на женском празднике обмолвился, что он в этом что-то понимает, да и Лозинский ему на суд стихи приносил. И как-то в конце рабочего дня я зашёл к директору в кабинет и положил на стол свой ежедневник, попросив оценить содержимое.

— Я догадывался, что вы способны не только на праздничные панегирики, — полистав его, произнёс Курбатов и сощурился. — Но я не могу вот так, на ходу. Стихи надо читать медленно и в одиночестве. Если, конечно, это стихи, а не ламбуры какие-нибудь.

Он держал у себя мой рукописный том, наверное, дней десять, и я начал подозревать, что всё прочно забыто им за директорскими хлопотами. Но однажды утром Курбатов прислал за мной секретаршу. Я не замедлил явиться.

— Скажу вам сразу — не ожидал, — сказал Курбатов, протягивая мне тетрадь. — У вас много хороших стихов. Но, по-моему, вы немного бравируете своей способностью... — он пошевелил пальцами в воздухе, — способностью зарифмовать всё, что можно. Отсюда много неоправданных длиннот... Это распространённая ошибка. Все уже поняли, что автор хотел сказать, а он продолжает разжёвывать. Читателя надо уважать и позволять самому додумывать несказанное. Если вы избавитесь от этого...

Он помолчал, потом достал из тумбы стола несколько газет.

— Вот, почитайте. «Заря Сибири», рупор районных известий. Они молодцы —

иногда отдают последнюю страницу местных пиитам. Хотя в последнее время помещают всё больше рекламы. Жить-то надо... Вы печатались где-нибудь?

— Не приходилось.

— Попробуйте у них. Многие ваши стихи, по крайней мере, не хуже. А вообще-то вы можете пойти и дальше. Если возьмёте для себя точку отсчёта повыше, чем... — он пристально поглядел на меня сквозь очки, — чем наметили сейчас.

Я забрал свою тетрадь, пачку газет и вышел. Похвала Курбатова меня здорово приободрила. Действительно, почему бы не попробовать опубликоваться?

Стихи в «Заре» были разные. Какие-то меня тронули, другие совсем не задели — обычная провинциальная словесная каша. Отобрав с десяток лучших своих стихов, я переписал их, насколько мог, разборчиво и отправил письмом в редакцию. На следующий день сходил на почту и оформил подписку на газету — не буду же я через Курбатова узнавать, напечатали или нет. Да и быть в курсе местных новостей не помешает.

Через месяц вышел номер с «Литературной страницей», на которой среди других я обнаружил четыре своих стихотворения. Обычно у каждого автора публиковалось не более двух. Сказать, что я обрадовался, было бы слишком слабо и неточно. Я летал! В голове всё время вертелось: ведь я же знал, я же знал, что снова начну писать, так и вышло! И меня даже напечатали. Значит, всё-таки признали, оценили! И пусть это произошло поздно, ничего страшного. Впереди у меня полжизни, и строгие редакторы ещё будут падать в обморок как миленькие, куда они денутся!

Курбатов зазвал меня к себе в кабинет и поздравил с первым успехом. Он повесил газету в коридоре, и новость быстро разлетелась по конторе. С поздравлениями приходили многие, даже Адоньев заглянул и пожал руку, правда, ехидно спросил при этом: «Неужели сам всё сочинил, без подсказок?».

— Не сумлевайся, — отвечивал я. — Черновики тебе принести?

Он великодушно отказался.

Женя Лозинский, издавелека заметив меня в коридоре, затормозил и срочно завернул в туалет. У него был совсем несчастный вид. Но чем я мог ему помочь? Здесь каждый сам за себя. Прозу можно писать и вдвоём, а вот стихи — история таких случаев не знает. Разве что Козьма Прутков...

Вскоре я получил письмо из города. Сначала подумал — из редакции, даже, грешным делом, вообразил, что насчёт гонорара. Нет, подписано было: «Г. Родичев, председатель городского литературного объединения». Сухим языком, но без канцелярщины, меня приглашали на занятие лито в ближайшую субботу. Я недоумевал: как они меня нашли? Потом сообразил, что, конечно же, «литовцы» прочитали в газете мои стихи и узнали в редакции адрес. И вот по субботам я стал ездить в город на собрания литераторов. Они проходили в школе, где Георгий Алексеевич Родичев был учителем русского языка и литературы.

Собиралось обычно человек десять-пятнадцать — студенты техникума, рабочие с рудника, разночинная интеллигенция. Приходили и пенсионеры, при избытке свободного времени обнаружившие в себе ненасытную потребность в писательстве. Все они были милыми в общении людьми, хотя, как я заметил позже, отдельные индивиды обладали весьма завышенной самооценкой и никогда не соглашались с критикой своих сочинений. А Родичев оказался весьма молодым человеком, лет тридцати, но авторитет его никем не оспаривался, и, пожалуй, справедливо — он вёл занятия интересно, был энергичен, точен в своих замеча-

ниях о достоинствах и недостатках обсуждаемых произведений, да и сам писал увлекательные рассказы и единственный из всех нас имел изданную в областном центре собственную книжку.

В первый мой проезд он представил меня как подающего большие надежды поэта, попросил рассказать о себе и прочитал что-нибудь. Потом пригласил всех высказаться. Отзывы прозвучали в большинстве одобрительные, хотя их тон был такой... снисходительно-отеческий, что ли. Выступавшие говорили, что у меня есть способности, но мне нужно упорно работать со словом, и тогда я, может быть, чего-нибудь достигну... Признанные светила местного значения, они давно были между собой знакомы и ценили друг друга, а я кто такой? Пришлый человек без рода, без племени, да ещё с периферии. Впрочем, Фёдор Степанович Полтавченко, добродушный пожилой мужчина с кудрявой седой шевелюрой, обошёлся без менторства и прямо заявил, что ему всё без исключения понравилось, и меня надо немедленно принимать в действительные члены лито. Его поддержали несколько человек, но им стала возражать Иветта Савельевна Малиновская, дама бальзаковского, как принято говорить, возраста, искусственная блондинка со свисающими на уши локонами и густо выкрашенным ртом. Подрагивая пышным бюстом, она заявила:

— Сергея Витальевича мы совсем не знаем, и сегодня ознакомились только с фрагментами его творчества. Я не спорю, у него, конечно, есть запоминающиеся образы, и темы он поднимает серьёзные, но общий его, э-э... уровень мы оценить пока не можем. Поэтому предлагаю принять его кандидатом. У нас все вступали кандидатами, не вижу причины, почему мы должны делать исключение.

После небольших дебатов большинством голосов я был утверждён кандидатом в члены лито. Родичев посмотрел на меня и развёл руками: демократия. Когда заседание закончилось, Малиновская попросила у меня мою тетрадь:

— Если разрешите, я дома почитаю. А то плохо воспринимаю стихи на слух.

На следующем занятии она вернула мне тетрадь, ничего не сказав. Раскрыл я её только дома. Почти все страницы были испещрены пометками. Слова зачёркивались карандашом, а сверху вписывались другие — на замену, строфы обводились и сопровождалась вопросительными знаками, внизу нередко были оставлены замечания: «Сумбурно», «О чём это?», «Поэт, ищи точное слово!» и тому подобные. Я понял, что Малиновская ни черта не понимает в стихосложении, равно как и в поэзии вообще. Да ещё испортила мне чистовик!

Со временем я выделил среди всех «литовцев» лишь троих, творчество которых меня привлекало. Полтавченко сочинял довольно остроумные басни, Саша Головастов, заочник горного института, удачно экспериментировал с поэтическими стилями и формами, хотя был несвободен от явных подражаний, а Жаргал Цыренов из управления комбината писал верлибры, завораживающие романтическими образами и парадоксальными концовками. Мы сблизились и после общих заседаний часто уходили поговорить о том да о сём домой к жившему в одиночестве Полтавченко. Родичев, как можно было понять, тоже выделял нас из общей массы, но старался по возможности соблюдать нейтралитет.

Как председатель лито, Георгий Алексеевич был вхож в отдел культуры городской администрации и однажды пришёл с известием, что ему удалось добиться выпуска литературного сборника к юбилею города, который будет отмечаться в следующем году. Всеобщий восторг был мощным, хотя и кратким. Книжка — это не газета, которую прочитал и выбросил, это след в литературе, по крайней мере, на десятилетия, памятник нерукоотворный... Родичев кое-как добился тишины и

попросил всех представить к следующему занятию свои произведения. Потом он предложил создать редакционную группу, которая отберёт для сборника лучшие из них. Назвал несколько фамилий, среди которых прозвучала и моя, и объявил голосование. Но Иветта напомнила всем, что я всего лишь кандидат и потому не могу быть редактором.

— Так в чём проблема? — спросил Полтавченко. — Давно уже пора избрать Сергея Витальевича полноценным членом. Давайте сейчас и решим.

— По нашему уставу кандидатский стаж — полгода, — заявила Малиновская. — А полгода ещё не прошло. Вы должны понимать, — обратилась она ко мне, — я высоко ценю ваше творчество, но мы не вправе нарушать положения документа, который сами же и приняли.

Тем же демократичным путём из списка меня исключили. Головастов и Цыренов большинством утверждены не были, вместо них кооптировали Малиновскую и ещё одну матрону, а Полтавченко прошёл с перевесом всего в один голос.

Я уехал домой, отправил свои стихи по почте и, нехстати простудившись где-то на сквозняке, не появлялся на лито недели две. Поэтому о жарких дебатах в редакционной группе ничего не знал. О них мне рассказал перед заседанием Фёдор Степанович. Оказалось, что у избранных в её состав членов вдруг проявился неукротимый редакторский зуд. К примеру, кто-то упорно доказывал, что в строке поэта имярек надо непременно убрать «бурю» и вставить «вьюгу», но сталкивался с возражением, что самым подходящим словом была бы «пурга» или даже «буран», для чего надо переделать всё стихотворение, изменив размер с хорея на ямб... И ни один из редакторов не желал уступать другому. В конце концов даже терпеливый Родичев вспылил и сказал, что этот клубок единомышленников он распускает и редактировать всё будет сам, поскольку лично отвечает перед отделом культуры за качество книги.

— Вот такие дела, — усмехнувшись, заключил Полтавченко.

Я не успел высказаться по этому поводу — пришёл Родичев с плохой новостью: деньги, выделенные на сборник, сильно урезали — что-то у них там не сошлось, поэтому формат издания придётся менять. Он огласил своё решение: выпустить несколько тонких персональных книжечек под одной суперобложкой с общим названием «Радуга над тайгой». И назвал семерых авторов, которых выбрал. В их числе оказался и я. Иветта, не попавшая в список, попыталась добиться правды ссылкой опять же на устав, но неотбытый мной кандидатский срок Родичева не смутил. Ропот остальных обиженных он быстро и решительно заглушил, а после собрания попросил меня остаться.

— В отделе культуры поставили условие: в издание должно войти хотя бы одно юбилейное стихотворение, — сказал Георгий Алексеевич. — У вас должно получиться. Понятно, что мало кто любит писать на заказ, но, — он вздохнул, — это надо сделать.

Поколебавшись, добавил:

— Я думаю поместить это стихотворение на широком загибе суперобложки. Это будет прелюдия, эпитафия... Читатели увидят вашу фамилию первой.

Если бы Родичев не был мне симпатичен, я бы высмеял его за столь неуклюжую попытку моей стимуляции. А так она меня лишь позабавила.

— Чтобы такое написать, надо любить город, знать его душу, его историю. А я приезжий и ни дня здесь не жил, — пробовал я отказать. — Лучше пусть Головастов сочинит что-нибудь.

— Ну, вы уже давно у нас бываете, — не отступал Родичев, — с городом немного познакомились... и вообще я убедился, что вам любая тема по плечу. А Саша, боюсь, завернёт что-нибудь такое... Нет, вы уж вырчайте.

В общем, он меня уговорил. Я написал что-то лирически-бодрое, по возможности избегая штампов вроде «тайга — снега», но совсем обойтись без них не получилось. Тем не менее последнее препятствие было устранено, и рукопись ушла в печать.

День, когда на небосводе лито расцвела наша «Радуга», выдался солнечным. Уходящее лето щедро выливалось оставшееся тепло на город и обступившие его сопки. Осень, ещё не смея в полный голос возвестить о себе, украдкой раскрашивала листья на тополях и клёнах. Всем было весело и радостно. Даже отвергнутые Родичевым сочинители, возможно, таившие понятную зависть к семерым избранным, поддержали его предложение отметить событие в кафешке, расположенной через дорогу от школы. И мы посидели там часок за шампанским. Георгий Алексеевич воодушевлённо поздравлял авторов с первой книжкой, выражал надежду, что для каждого это не последняя, и призывал остальных повышать своё мастерство, для чего побольше читать классиков. Кто-то спросил, не обидно ли самому Родичеву остаться без юбилейной публикации.

— Ну, для прозы места не хватило, сами видите, — ответил Родичев. — Я мог бы, конечно, найти свои юношеские стихи, но они слабые, а улучшать их сейчас... было бы нечестно. Подождём, — он улыбнулся. — Может быть, к следующему юбилею жизнь наладится, и мы включим в нашу книгу ещё и прозаиков... Я ведь такой не один, — и он показал на сидящего напротив экскаваторщика Кременецкого, очерки которого о жизни комбината и его людях иногда печатались в «Заре Сибири». Тот смущённо покашлял:

— Я же не писатель, а так... рабкор, что ли.

— Документальная проза иногда сильнее художественной, — возразил Родичев, — потому что невыдуманная. А в ваших очерках — сама жизнь, какая она есть... Почему у нас в лито прозаиков меньше, чем поэтов? Потому что стихи писать легче, не в обиду нашим стихотворцам...

На вокзал я отправился далеко после обеда. В электричке достал из сумки свою книжечку толщиной в двадцать страниц и долго смотрел на обложку. Сергей Загладин, «Стихи». Серия книг «Радуга над тайгой»... Мог ли я представить такое ещё весной! Надо будет один из пяти авторских экземпляров обязательно подарить Курбатову, без него книжка бы не состоялась, это он дал мне тот самый «волшебный пинок». Может, попросить его в ближайшую пятницу укоротить на часок рабочий день, чтобы провести презентацию моей книжки? Хотя почему только моей — всех семи. Я сам расскажу о каждом, пусть знают наших поэтов. Надо привыкать к выступлениям, к публичности, раз уж заделался писателем...

Вагон был полупустым. Грибники и ягодники уехали в леса рано утром, дачники отправились кланяться грядкам чуть позже. Часы между полднем и вечером — время случайных пассажиров. Я сидел у окошка один. Оторвавшись от приятных грёз, раскрыл книжку и стал прочитывать каждое стихотворение глазами постороннего, пробуя представить, какое они произвели бы на него впечатление. Смаковал удачные строки, как если бы не был их автором, и бегло проскакивал не совсем удачные — сколько я ни бился, не получилось так, как хотелось. И не то чтобы вышло совсем плохо — нет, просто я чувствовал, что надо как-то по-другому. Но сидеть над ними было некогда — торопил Родичев.

Поезд в очередной раз остановился, через минуту тронулся, а на скамью напротив сел парень лет двадцати пяти — в рабочей куртке, черноволосый, с загорелым лицом. Пахнуло спиртным — мой сосед был под хмельком. Поддал где-то с дружками по случаю выходного... С лёгким недовольством взглянув на него, я продолжил чтение. Но он вскоре тронул меня за колено. Ну, ясно, сейчас начнёт душу изливать, на судьбу жаловаться. Или нести чепуху всякую, что на язык ляжет. Любят пьяные поговорить, даже с незнакомыми... Я оторвался от книжки с намерением дать спокойный, но решительный отпор.

— Извини, земля. Я вижу, ты стихи читаешь, — сказал попутчик.

Голос его звучал совершенно трезво. Я вдруг почувствовал себя виноватым. Нормальный парень, кажется, чего я себя прищипываю.

— Стихи, да.

— Кто написал?

— Сей муж, — стукнув себя ладонью в грудь, ответил я. И тут же подумал: зачем ёрничаю? Стесняюсь показаться хвастуном, но к чему это, если действительно автор — я? Надо просто объяснить.

— Это моя первая книжка. Только что из типографии. — И почему-то прибавил, будто оправдываясь: — Скоро юбилей города...

— Юбилей, — повторил мой собеседник. — Я посмотрю?

— Возьми.

Он открыл книжку и сразу, не листая, стал читать с самого начала. Дочитав, перевернул страницу и так же внимательно прочитал вторую. Потом третью. Я немного оробел, будто на экзамене. Вот, собственно, первый читатель моей книжки, не умственно представляемый мной, а настоящий. Только странный какой-то: читает всё подряд — и молчит. Как-то многозначительно молчит — почему? Или ему не нравится, или так уж он увлёкся? И я тоже молчал, с волнением ожидая, что он скажет. Но парень, дочитав до конца, так же без слов вернул мне книжку. Мой вопрос: «Ну и как?» — прозвучал бы слишком глупо. Похоже, ему всё равно что читать: стихи или детективы, лишь бы время занять...

Поезд с грохотом пронёсся по мосту. Стучали железные колёса, скрипел, покачиваясь, вагон.

— Вот это хорошо у тебя, — вдруг сказал парень и повторил вслух мои строки: — «Мы все не прочь отвесть славы, да разной может быть цена»...

Я хрипло ответил:

— Мне тоже нравится.

За окном беспрерывно тянулась, взбираясь на сопки и снова спускаясь, тёмно-зелёная, колышущаяся под ветром, живая стена тайги.

— Вот объясни, — он пристально взглянул мне в глаза, — почему все хотят заполучить её любой ценой? А если цена твоей славы — подлость, предательство, тогда зачем она? Как можно с этим жить?

— В чём и дело, — отозвался я. — Это самое непонятное.

Я слукавил. Самым непонятным было другое: из всей книжки он прочитал вслух о том, что до сих пор не отпускало меня, что, по сути, и привело в эти края. Потом догадался — с ним тоже было что-то подобное.

— Павел, — парень протянул мне жилистую ладонь.

— Сергей, — сказал я, хотя он наверняка уже прочитал моё имя на обложке. — С работы едешь? Сегодня же суббота.

— Халтурка подвернулась, — объяснил Павел. — Один корефан попросил движок у «Мазды» подрегулировать. Я моторист неплохой.

В его последних словах не было никакой рисовки, просто изложение факта.

— А я вот за книжками ездил.

Помолчали.

Павел поглядел в окно и медленно произнёс — будто про себя:

— Осень скоро... — И после паузы: — Жёлтым огнём полыхают берёзы, но не зажечь им пожар в кедраче...

— Вроде стихи? — спросил я, хотя вопрос был лишним.

— Стихи.

— Чьи это?

— Мои, — ответил Павел.

Строки чем-то зачаровывали — то ли повторяющимися «ё», то ли этими жгучими «ж» и «ч». Но во мне тоже проснулся редактор.

— Здесь слишком явное заимствование, — заметил я. — Вот у Есенина: «В саду горит костёр рябины красной, но никого не может...».

— Да знаю, — нетерпеливо прервал он меня. — Но разве я виноват, что он раньше меня об этом написал? Я тогда и не знал этих строчек.

Прозвучало это как-то по-детски. Но, без сомнения, он был прав — в этом его вины не было. У меня тоже как-то случилось такое совпадение, и я долго не знал, что с ним делать. Потом всё-таки решил вычеркнуть и придумал что-то взамен, хотя и жаль было найденного образа.

И я сказал:

— Вообще-то у тебя не совсем такой уж повтор. Бывало и хуже. Вот Грибоедов почти дословно списал у Державина: «И дым отечества нам сладок и приятен». А Державин этот образ позаимствовал из «Одиссеи» Гомера. И ничего. Все довольны.

— Да ладно тебе, — он вяло шевельнул ладонью. — Они-то великие, кто им что скажет...

Он уставился в окно и, казалось, с интересом следил, как по просёлку рядом с линией мчится на мотоцикле, стараясь не отставать от поезда, подросток в шапке, телогрейке и с горбовиком за спиной.

— Настырный, — показал на него Павел. И — без перехода, обратив лицо ко мне:

— Вот послушай:

*Мой плащ до дыр изношен,
рука моя слаба
меч обнажить из ножен
на труса и жлоба.*

*Мой конь стреножен бытом,
не слушает узды,
не бьёт дорог копытом,
не пашет борозды.*

*Я сердцем понимаю:
мне не поднять копьё...
О как я проклиная
бессилие моё!..*

— А дальше? — спросил я, не дождавшись продолжения.

— Дальше пока нет.

На собраниях лито я заметил, что начинающие, особенно молодые парни, часто склонны к этакой... куртуазности, что ли. Я, конечно, тоже числился начинающим, но у меня был заход уже на второй круг, и к тому же я намного опережал их по опыту жизни, так что давно преодолел это поветрие. Но уж лучше такое, чем пейзажные, без единого свежего штриха, словесные иллюстрации наших пенсионеров из лито, хотя и сочинённые со всей искренностью.

— Это про Дон Кихота?

— Это про нас. Про всех.

Он продолжал смотреть в окно, хотя паренёк на мотоцикле всё-таки отстал.

Я сказал:

— Ну... неплохо. — Мне в самом деле понравилось. — А другие стихи у тебя есть?

Павел оторвался от окна.

— Есть.

— А ты показывал кому-нибудь?

— Вот тебе показал. Потому что ты понимаешь...

В его словах прозвучало неприкаянное одиночество. Нет, приятели у него, конечно, должны быть. Но приятелям его стихи не нужны. Ему, как и мне недавно, не хватает читателей, слушателей, это же видно. Надо вовлечь его в коллектив.

— А к нам, в лито, не хочешь?

— Куда?

— В литературное объединение. В городе. Мы каждую субботу собираемся.

Почему литературные кружки везде называются «объединениями», я не знал. Да и само это слово не нравилось. Объединение, объединение... Кружок — он и есть кружок. Хоровой, танцевальный, авиамодельный, литературный... Ну не кружок, так клуб, секция, студия... Но раз уж так устоялось, пусть.

— А зачем? — спросил Павел.

— Ну как... Пообщаешься с пишущими людьми, подучишься кое-чему. Может, потом тоже книжку выпустишь.

Динамик в вагоне невнятно пробормотал, что поезд прибывает на мою платформу.

— Мне выходить, — сказал я. — А ты дальше? Запомни адрес, куда придти: улица Новаторов...

— Подожди, — остановил он меня. — Я с тобой. — И поднялся с места. — Если не против, обмоем? — Павел взглядом указал на книжку, которую я засовывал в сумку.

Может, он хотел догнать кайф, которого ему не хватило у хозяина «Мазды», или действительно считал, что это дело надо отметить? Какая разница. Дома мне отмечать всё равно было не с кем.

В ларьке возле нашего маленького деревянного вокзальчика мы взяли чего-то красненького, полпалки колбасы, стаканчики и удалились в лесок с другой стороны насыпи, где устроились на широком почерневшем пне.

— Ну, за тебя, — сказал Павел. — За книжку. Как говорится — дай бог, не последняя.

— Спасибо.

Выпили.

— Только не это главное, ты пойми. — Павел поглядел на небо, где самолёт прочерчивал белый, на глазах распадающийся след. — Главное — добиваться совершенства.

Я сказал:

— Ну, вообще-то каждый к этому стремится. Только вот какая штука — оно не для всех достижимо. Иначе все были бы гениями.

— Я не про это. Вот у тебя в книжке много чего... где ты молодец. Поддерживаю. И это, наверное, совершенство, как ты его понимаешь. Но ведь там есть и...

— Что?

— Да вот смотри... Движок я сегодня делал. Ну, работает, да, не сбоят, тянет... но как-то не так. А почему? Настройки нужны. Клапана, холостой ход, обороты... Ну там топливо, масло, другие расходники — это само собой. Садись за руль — душой отдыхаешь, ничего нигде не скребёт, не стучит. Понимаешь? Если ты можешь это сделать — значит, надо делать!

Это он деликатно так про мои недописки. Заметил, значит. Вот тебе и моторист. Нет, надо, надо затащить его к нам. А то никуда не ускачет его «стреноженный бытом конь»... И я снова предложил ему приехать к нам на лито.

— Чтобы книжку напечатать? — он почти насмешливо взглянул на меня. — А зачем?

Опять «зачем»! Совсем как Шолохов, который будто бы спросил у Евтушенко по поводу «Бабьего Яра»: «Похвально, что написал. А вот зачем напечатал?». Я, конечно, не Евтушенко, а Павел — не Шолохов. Но его реакция была для меня странной.

— Ну как зачем? А для чего мы пишем? Для того, чтобы люди читали.

— Смотря что читать, — не согласился он. — Вот я тебе сегодня прочитал... Можно это печатать?

— Ну как... У тебя же конца пока нет. Сначала надо дописать. Если будет не хуже, тогда кое-что немного подработать, и можно.

— «Немного». Нет, тут не немного. Но пока не могу... Чего-то мне не хватает. Хотя в общем, кажется, подходяще. Но это в общем. А так ещё... настроить надо.

— Поэтому я тебя и зову к нам, — пытался я втолковать ему. — Послушаешь других, поваришься... в литературном котле.

— Нет, я должен сам... Вы, конечно, будете мне подсказывать, что и как, поправлять, советовать. И я вас, может быть, послушаю. Но это будут уже не мои стихи. Я сам должен дойти, понимаешь?

Я начал закипать. Чего он театральничает, изображает из себя? Прямо второй Адоньев — та же сказочка, но на другой лад...

— Ну и зря ты отказываешься. А если не дойдёшь?

— Значит, тогда и печатать ничего не нужно. Ты же сам написал... А тут и не слава даже — так просто, честолюбие своё погладить.

— Так ты считаешь, что моя книжка — только ради этого?... Покрасоваться?

— Да не о тебе я! — с досадой сказал Павел. — О себе.

Я не понимал его.

— Зачем ты тогда стихи свои мне читал недоделанные? Говоришь о совершенстве, а сам...

Он виновато улыбнулся. Мне показалось, что в его глазах мелькнула тоска.

— Это же только между нами... Просто захотелось... поговорить.

Вдали свистнула электричка. Павел встал, отряхнулся.

— Поехал я. Надо ещё к матери зайти, стайку поправить...

Я поднялся тоже. Он протянул руку.

— Ну, давай... Ты много уже умеешь... А я пока нет. Но я добьюсь...

И быстро зашагал к вокзалу.

Я проводил его взглядом и остался стоять. Идти никуда не хотелось. Что-то он во мне пошевелил. Надо было подумать.

Что там Курбатов говорил про точку отсчёта? Выше головы ведь не прыгнешь... Или прыгнешь?